ВСТРЕЧИ С ЛИЗ

ЛЕОНИД ДОБЫЧИН

ЛЕОНИД ДОБЫЧИН

ВСТРЕЧИ С ЛИЗ

РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „МЫСЛЬ“
ЛЕНИНГРАД

Козлова

КОЗЛОВА.

I.

Электричество горело в трех паникадилах. Сорок восемь советских служащих пели на клиросе. Приезжий проповедник предсказал, что скоро воскреснет бог и расточатся враги его.

Козлова приложилась и, растирая по лбу масло, протолкалась к выходу. Через площадь еле продралась: пускали ракеты, толкались, что-то выкрикивали, жгли картонного бога-отца с головой в треугольнике, музыка играла Интернационал.

— Мерзавцы, — шептала Козлова, — гонители... — Снег скрипел под ногами. Примасленные полозьями места жирно блестели. Над школой Карла Либкнехта и Розы Люксембург стояла маленькая зеленоватая луна. Козлова вздохнула: здесь мосье Пуэнкарэ учил по-французски.

Она пошла тише. В памяти встали приятные картины дружбы с мосье.

Вот — чай. Мосье рассказывает о лурдской богородице. Авдотья отворяет дверь и подсматривает. Козлова показывает на нее глазами. — Приветливая женщина, — говорит мосье. Потом он берется за шляпу, Козлова встает, и они отражаются в зеркале: он, аккуратненький, седенький, раскланивается, она — прямая, в длинном платье, пальцы левой руки в пальцах правой, тонкий нос немного наискось, на узких губах — старомодная улыбка. — Приходите, мосье...

А вот — в кинематографе. Играют на скрипке. Мосье завтра едет. С тоненького деревца в зеленой кадке медленно падают листья. — Как грустно, мосье... — Девица в красной вязаной кофте отдергивает занавеску и впускает. По сторонам холста висят Ленин и Троцкий... Бьет посуду и ломает мебель комическая теща, красуются швейцарские озера и мелькают шесть частей роскошной драмы: Клотильда отравилась, Жанна выбросилась из окна, а Шарль медленно отплывает на пароходе «Республика», и ему начинает казаться что все случившееся было только сном.

— Так и вы, мосье, забудете нас, как сон.

— О, мадмуазель!

Обратный путь полон излияний. В прекрасной Франции мосье будет думать о ней. Он будет следить за политикой.

«Кого же и назвать Сивиллой нашего времени, если не мадам де-Тэб», — напишет он, когда можно будет ждать чего-нибудь такого...

2.

Вечера Козлова просиживала на лежанке — штопала белье или читала приложения к «Ниве». Вторник был женский день — ходили с Авдотьей в баню: орали дети, гремели тазы, толстобрюхие бабы с распущенными волосами, дымясь, хлестали себя вениками. В воскресенье брали по корзине и отправлялись на базар. — Гражданка, гражданка, — высовываясь из будок, зазывали торговки: — барышня или дамочка!

Иногда приходила Суслова, и долго пили чай: хозяйка — чинная, с любезной улыбкой, гостья — растрепанная, толстая, с локтями на столе и шумными вздохами. Говорили о тяжелой жизни и о старом времени. Авдотья слушала, стоя в дверях.

— В Петербурге я кого-то видела, — рассказывала круглощекая Суслова, задумчиво уставившись на чашки (одна была с Зимним дворцом, другая — с адмиралтейством): — Не знаю, может быть — саму императрицу: иду мимо дворца, вдруг подъезжает карета, выскакивает дама и — порх в подъезд.

— Может быть, экономка с покупками, — отвечала Козлова.

Зима прошла. Первого мая Козлова выстирала две кофты и полдюжины платков: пусть выкусят. В открытые окна прилетали звуки оркестров.

Из монастыря принесли икону святого Кукши. Ходили встречать. Возвращались взволнованные.

— Мерзавцы, гонители...

— Господи, когда избавимся?.. Мусью не пишет?

Потом взошла луна, и души смягчились... В соборе трезвонили. В саду «Красный Октябрь» играли вальс. Встретили Демещенку, Гаращенку и Калегаеву, задумчивых, с черемуховыми ветками.

Остановились над рекой и поглядели на лунную полосу и лодку с балалайкой:

— Венеция, — прошептала Козлова.

— «Венеция э Нàполи», — ответила Суслова и, помолчав, сказала тихо и мечтательно:

— Когда горел кооператив, загорелись духи, и так хорошо запахло...

Под утро около кровати кто-то кашлянул. Козлова повернулась и увидела святого Кукшу — в синей епитрахили, как на иконе. Он подал ей хартию, и она прочла, что там было написано:

«Кого же и назвать Сивиллой нашего времени, если не мадам де-Тэб».

Проснулась в волнении и пораньше вышла, чтобы перед канцелярией забежать в собор. Дверь была заперта. Козлова толкнула калитку и села подождать в саду.

Столб с преображением и зеленым куполом стоял под кленами. Таяли рыхлые облака телесного цвета, и через них местами сквозило синее. Скрипнула дверь, епископ вышел из сторожки — простоволосый, с ведром помоев. Постоял, считая удары часов на каланче, и опрокинул свое ведро под столб с преображением.

«Недолго мучиться», — радостно думала Козлова, смотря ему вслед.

Обедала поспешно — хотела сходить к Сусловой, но, встав из-за стола, разомлела и едва добралась до кровати. Проснувшись, к Сусловой поленилась. Отправила Авдотью встречать корову и пошла на огород. Солнце садилось, и закат был простенький: одна полоска — красноватая и одна — зеленоватая.

Козлова была любительница поливать. — Когда поливаешь, — говорила она, — душа отдыхает и погружается в сладостное состояние.

Лила двенадцатую лейку, и луна блестела в быстро исчезавших лужицах. Загремел оркестр. Козлова бросилась к воротам.

Чихнула от пыли. Дымные огни развевались на факелах. Отсвечивались в медных трубах. Керзон болтался на висилице. Свет пробегал по лицам маршировщиков.

— Атъ, два! Левой! Да здравствует коммунистическая партия! Ура!

Разинув рот, маршировала Суслова.

Из темноты прибежала Авдотья: — Англия воюет.

Пред киотами зажгли лампадки и при двух лампах пили настоящий чай. Воняло керосином и копотью. С светлым лицом, Козлова достала из лекарственного шкафа баночку малины. — Пасха, — наслаждалась Авдотья. Ругали дурищу Суслову.

3.

Сидели на сверхурочных. Кусались мухи. Гудел большой колокол, дребезжа подпевали стекла.

Демещенко согнулась над столом и выцарапывала: — товарищ Ленин.

Гаращенко и Калегаева, развалившись на стульях, грызли подсолнухи и глазели на новую.

— Завтра — Иоанна-воина, — сказала новая, франтоватая старушка с красными щеками. — Когда вы с кем-нибудь поссоритесь, молитесь Иоанну-воину. Я всегда так делаю, и знаете — ее забрали и присудили на три года.

«Хорошая женщина, — подумала Козлова, — религиозная... Сутыркина, кажется».

Перенесла свои бумаги и чернильницу к Сутыркиной: — Вы где живете?

Вышли вместе: Козлова — степенная, в синем газовом шарфе с расплывчатыми желтыми кругами, Сутыркина — вертлявая, в старой соломенной шляпе с перьями.

У калиток ломались перед девицами кавалеры. Мальчишки горланили «Смело мы в бой пойдем». Оседала поднятая за день пыль. Торчали обломки деревьев, посаженных в «день леса». Тянуло дохлятиной.

— Свое холщевое пальто, — говорила Сутыркина, — я получила от союза финкотруд. В девятнадцатом году я у них караулила сад. Жила в шалаше. Приходили знакомые, и, скажу, не хвастаясь, мы проводили вечера, полные поэзии.

Козлова слушала с таким лицом, как-будто у нее во рту была конфета: полные поэзии вечера!

— Вы говорите, в девятнадцатом году, — сказала она любезным и приятным голосом: — Помните, все тогда ахали — того бы я съела, этого бы съела. А у меня была одна мечта: напиться хорошего кофе с куличиком.

Они подружились. Часто пили друг у друга чай и, когда не было дождя, прохаживались за город. Разговаривали о начальстве, об обновлениях икон, вспоминали прежние моды.

— Вы не были на губернской олимпиаде? — спрашивала иногда Сутыркина: — почти совсем голые! Фу, какое неприличие. — И, улыбаясь, долго молчала и глядела вдаль.

Раз или два встретили Суслову, и она останавливалась и, обернувшись, смотрела на них, пока не исчезнут из вида...

В зеркальных крестах горело солнце. Ярко желтелись клены. Рябины с красными кистями напомнили Козловой земляничные букетики. Она остановилась, наклонила на бок голову и, держа левую руку в правой, картинно любовалась.

Нагнала Сутыркина: — Недурная погода. С удовольствием бы съездила на выставку. Очень хорош, говорят, Ленин из цветов.

Козлова поджала губы.

— Знаете, — с достоинством сказала ей Сутыркина, — я всегда сообразуюсь с веянием времени. Теперь такое веяние, чтобы ездить на выставку — пополнять свои сельскохозяйственные знания.

Дождь стучал по стеклам. За окнами качались черные сучья. В канцелярии было темно. Демещенко, Гаращенко и Калегаева зевали и подолгу стояли у печки. Сутыркина читала газету.

— Вот два интересных объявления.

Все на нее взглянули, она встала и прокашлялась. Одно было от Харина — к седьмому

ноября у него огромный выбор хлебных и кондитерских изделий. Другое — от епископа: седьмого ноября во всех церквах будет торжественная служба и благодарственный молебен.

— Понимаете, какое теперь веяние?

4.

Козлова сидела на теплой лежанке и читала приложения к «Ниве». Авдотья мела пол. Пахло мышами от приложений и полынью от полынного веника.

Александра Николаевна вышла за Петра Ивановича — стоя под венцом, они блистали красотой. А Алексей Егорыч приходил к ним каждый праздник и, сидя после сытного обеда в удобном кресле, от времени до времени испускал глубокий вздох.

Козлова закрыла глаза и несколько минут наслаждалась этим приятным концом. Потом достала четыре булавки из деревянной коробочки с лиловыми фиалками и подколола юбку. Она сама нарисовала эти фиалки, когда была молоденькой...

Надела валенки, вязаную шапку, кофту и пошла пройтись.

Подскочила Суслова — красная, в большом платке, с петухом подмышкой.

— Ну, как? — бормотала она. — Давно не встречались... Тяжело жить. Вот, купила

петуха — на два раза. При такой-то семье... Мусью не пишет?

Козлова взяла ее за руки. — Приходите в половине шестого.

По дороге скакали светлоглазые галки. Низко висели тучи. Иногда пролетали снежинки.

Посмеиваясь приятным мыслям, Козлова бродила по улицам. Зашла на кладбище с похожими на умывальники памятниками и, улыбаясь, поклонилась родительским могилам..

Из ворот был виден монастырь святого Кукши — тоненькие церковки, пузатые башни. Вспомнились: красно-коричневый дворец, желтое адмиралтейство...

Сегодня вечером чувствительная Суслова заглядится на чашки, притихнет, задумается и расскажет, как видела императрицу. Уютно, как в романе из «Приложений», будет шуметь самовар, от лампы будет домовито попахивать керосином. — Вы меня, кажется, встречали с этой женщиной, — скажет Козлова: — Настоящей дружбы у нас с ней не было.

На столбах зажглось электричество — желтые пятнышки под серыми тучами. Два воза дров въехали в ворота школы Карла Либкнехта и Розы Люксембург... Здесь учил мосье Пуэнкарэ.

1923.

Встречи с Лиз

ВСТРЕЧИ С ЛИЗ

I.

Шевеля на ходу плечами, высоко подняв голову, с победоносной улыбкой на лиловом от пудры лице, Лиз Курицына свернула с улицы Германской Революции в улицу Третьего Интернационала.

С каждым шагом поворачивая туловище то направо, то налево, она размахивала, как кадилом, плетеным веревочным мешком, в который был втиснут голубой таз с желтыми цветами.

Кукин повернулся через левое плечо и молодцевато шел за ней до бани. Там она остановилась, повертелась, торжествующе взглянула направо и налево и вспорхнула на крыльцо.

Дверь хлопнула. Торговки, сидя на кошелках с горячими углями, предложили Кукину моченых яблок. Не взглянув на них, он, радостный, спустился на реку.

«Пожалуй, — мечтал он, — уже разделась. Ах, чорт возьми!»

Ледяная корка на снегу блестела на вечернем солнце. Погоняя лошадей, мужики ехали с базара. Вереницами шли бабы с связками непроданных лаптей и перед прорубью ложились на брюхо и, свесив голову, сосали воду:

— Животные, — злорадствовал Кукин.

Когда он шел обратно через сад, луна была высоко, и под перепутанными ветвями яблонь лежали на снегу тоненькие тени.

«Через три месяца здесь будет бело от осыпавшихся лепестков», — подумал Кукин, и ему представились захватывающие сцены между ним и Лиз, расположившимися на белых лепестках.

Он посмеялся шуткам молодых людей, которые подзывали извозчиков и говорили «проезжай мимо», и в приятном настроении повернул в свой переулок.

Клуб штрафного батальона был парадно освещен, внутри гремела музыка, на украшенной еловыми ветвями двери висело объявление: труппа батальона ставит две пьесы — «Теща в дом — все вверх дном» и антирелигиозную.

Чайник был уже на самоваре. Мать сидела за евангелием.

— Я исповедывалась.

Кукин сделал благочестивое лицо, и под тиканье часов «ле руа а Пари» стали пить чашку за чашкой — седенькая мать в ситцевом платье и ее сын в парусиновой рубахе с черным галстучком, долговязый, тощий, причесанный ежиком.

2.

В канцелярию приковыляла хромоногая Рива Голубушкина и велела итти к Фишкиной — графить бумагу.

— Читали газету? — спросила она, подняв брови: — есть статья Фишкиной: «Не злоупотребляйте портретами вождей». — И откинув голову, она выкатила груди.

Было холодно. В открытое окно дул мокрый ветер. Рива усердно переписывала. Кукин, стоя, разлиновывал.

Фишкина, приблизив темное лицо к его руке, смотрела, и ее черная прическа прикоснулась к его бесцветным волосам. Тогда она встряхнулась и отошла к окну.

Стояла, вглядываясь в тучи, коротенькая, черная, прямая и презрительная. Потом негромко высморкалась и, повернувшись к комнате, сказала:

— Товарищ Кукин.

Приотворилась дверь, и кто-то заглянул. Она надела желтую телячью куртку и ушла.

— Вы ей понравились, — выкатывая груди, поздравляла Рива и таинственно оглядывалась. — Старайтесь к ней подъехать: она вас будет продвигать. Жаль только, что нас с ней переводят. Но ничего, я вам буду устраивать встречи.

— Возможно, — радовался Кукин. — В конце концов, я не против низших классов. Я готов сочувствовать. — И, ликуя, он насвистывал «Вставай, проклятьем».

Красные и синие шары метались по ветру над бородатым разносчиком. На углах голосили калеки. От дома к дому ходила старуха в черной кофте:

Подайте милостыньку, Христа ради,
Что милость ваша —
Кормилица наша,
Глухой больной старушки.

У ворот с четырьмя повалившимися в разные стороны зелеными жестяными вазами Кукин положил руку на сердце: здесь живет и томится в компрессах Лиз. У нее нарывы на спине — в газете было напечатано ее письмо, озаглавленное «Наши бани».

В библиотеке висели плакаты: «Туберкулез! Болезнь трудящихся!» — «Долой домашние! Очаги!»

— Что-нибудь революционное, — попросил Кукин.

Девица с желтыми кудряшками заскакала по лесенкам.

— Сейчас нет. Возьмите из другого. «Мерседес де-Кастилья», сочинения Писемского...

Ах, чорт возьми! а он уже видел себя с теми книжками — встречается Фишкина: — Что это у вас? Да? — значит, вы сочувствуете!

Мать сидела на диване с гостьей — Золотухиной, поджарой, в гипюровом воротнике, заколотом серебряной розой.

— Не слышно, скоро переменится режим? — томно спросила Золотухина, протягивая руку.

— Перемены не предвидится, — строго ответил Кукин. — И знаете, многие были против, а теперь, наоборот, сочувствуют.

Покончив с учтивостями, старухи продолжали свой разговор.

— Где хороша весна, — вздохнула Золотухина, — так это в Петербурге: снег еще не стаял, а на тротуарах уже продают цветы. Я одевалась у де-Ноткиной. «Моды де-Ноткиной»... Ну, а вы, молодой человек: вспоминаете столицу? Студенческие годы? Самое ведь это хорошее время, веселое...

Она зажмурилась и покрутила головой.

— Еще бы, — сказал Кукин. — Культурная жизнь... — И ему приятно взгрустнулось, он

замечтался над супом: — Играет музыкальный шкаф, студенты задумались и заедают пиво моченым горохом с солью... О, Петербург!

3.

— Идемте, идемте, — звала Золотухина. — Долой Румынию.

Кукина отнекивалась, показывала свои дырявые подметки...

Ходили долго. Развевались флаги и, опадая, задевали по носу.

— Эх, вы, буржуи,
Эх, вы, нахалы.

Луна белелась расплывчатым пятнышком. В четырехугольные просветы колоколен сквозило небо. Шевелились верхушки деревьев с набухшими почками.

— Вот, все развалится, — вздыхала Кукина, качая головой на покосившиеся и подпертые бревнами домишки: — где тогда жить?

Фишкина презрительно посматривала направо и налево: — Фу, сколько обывательщины!

Ковыляя впереди, оглядывалась на Кукина и кивала Рива и, пожимая плечами, отворачивалась: он ее не видел. Перед ним, размахивая под музыку руками, маршировала и вертела поясницей Лиз. Когда переставали трубы,

Кукин слышал, как она щебетала со своей соседкой:

— В губсоюз принимают исключительно по протекции...

В канцелярию пришел мальчишка:

«Не теряйте времени, — прислала Рива записку и билет в сад Карла Маркса и Фридриха Энгельса. — Подъезжайте к Фишкиной. Она вас продвинет. Вы не читали «Сад пыток»? — чудная вещь».

— Лиз, — сказал Кукин, — я вам буду верен...

— Плохи стали мои ноги, — жаловалась мать. — Сделала студень и оладьи, хотела отнести владыке, но, право, не могу. Попрошу бабку Алексадниху, а ты будь любезен, Жорж, присмотри за ней издали.

— Сейчас, — сказал Кукин и, дочитав «Бланманже», закрыл переложенную тесемками и засушенными цветками книгу.

— Ах, — вздохнул он, — не вернется прежнее.

Штрафные, ползая на корточках, выводили мелкими кирпичиками по насыпанной вдоль батальона песочной полоске: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».

Лиз лиловая, с лиловым зонтиком, с желтой лентой в выкрашенных перекисью водорода волосах, смотрела.

Кукин остановился и обдергивал рубашку. Лиз засмеялась, покачнулась, сорвалась с места и отправилась.

За ней бы! — но нельзя было оставить без присмотра Александриху.

Возвращались вместе — Александриха в холщевом жилете и полосатом фартуке и унылый Кукин в парусиновой рубашке с черным галстучком — и белесым отражением мелькали в черных окошках.

— Утром дух бывает очень вольный, — рассказывала Александриха... Бегали мальчишки и девчонки. Хозяйки выходили встречать коров. В лоске скамеек отсвечивалась краснота заката.

Запахло пудрой: на крыльце у святого Евпла толпилась свадьба — какое предзнаменование!

4.

В воде расплывчато, как пейзаж на диванной подушке, зеленелась гора с церквами.

Солнце жарило подставленные ему спины и животы.

— Трудящиеся всех стран, — мечтательно говорил Кукину кассир со станции, — ждут своего освобождения. Посмотрите, пожалуйста, достаточно покраснело у меня между лопатками?

Шурка Гусев, мокрый, запыхавшись, с блестящими глазами прибежал по берегу и схватил штаны:

— Девка утонула!

Толпились мужики, оставив на дороге свои возы с дровами, бабы в армяках и розовых юбках — с ворохами лаптей за спиной, купальщицы — застегивая пуговицы.

— Вот ее одежда, — таинственно показывала мать Ривы Голубушкиной, кругленькая, в гладком черном парике с пробором: — Знаете ее обыкновение: повертеть хвостом перед мужчинами. Заплыла за поворот, чтобы мужчины видели...

«Почему вы к ней не подъезжаете? — писала Рива. — Я опять пришлю билет. Будьте обязательно. Есть вокальный номер:

«Деньги у кого,
Сад наш посещает,
А без денег кто —
— В щелки подглядает».

После него сейчас же подойдите: — Что за обывательщина! Я удивляюсь; никакого марксистского подхода!»

Пыльный луч пролезал между ставнями. Ели кисель и, потные, отмахиваясь, ругали мух. Тихо прилетел звук маленького колокола, звук большого — у святого Евпла зазвонили к похоронам.

Бросились к окнам, посрывали на пол цветочные горшки, убрали ставни.

— Курицыну, — объявила Золотухина, по пояс высунувшись наружу.

Кукина перекрестилась и схватилась за нос: — Фу!

— Чего же вы хотите в этакое пекло, — заступилась Золотухина. — А мне ее душевно жаль.

— Конечно, — сказал Кукин, — девушка с образованием...

После чаю вышли на крыльцо. Штрафные пели Интернационал.

Блеснула на гипюровом воротнике серебряная роза:

— В ротах, — встрепенулась Золотухина, — в этот час солдаты поют «Отче наш» и «Боже, царя». А перед казармой — клумбочки, анютины глазки... Я люблю эту церковь, — показала она на желтого Евпла с белыми столбиками, — она напоминает петербургские.

Все повернули головы. По улице, презрительно поглядывая, черненькая, крепенькая, в короткой чесунчевой юбке и голубой кофте с белыми полосками, шла Фишкина.

— Интересная особа, — сказала Кукина.

Жорж поправил свой галстучек.

1924.

Ерыгин

ЕРЫГИН.

Ерыгин, лежа на боку, сгибал и вытягивал ногу. Ее волоса чертили песок.

Затрещал барабан. Пионеры с пятью флагами возвращались из леса. Ерыгин поленился снова итти в воду и стер с себя песчинки ладонями.

По лугу бегали мальчишки без курток и швыряли ногами мяч.

«Физкультура, — подумал Ерыгин, — залог здоровья трудящихся».

Базар был большой. Стояла вонища. Китайцы показывали фокусы. На будках висели метрические таблицы.

— Подайте, граждане, кто сколько может, ежели возможность ваша будет.

Ерыгин прошелся по рядам — не торгует ли кто-нибудь из безработных.

Перед лимонадной будкой толпились: товарищ Генералов, мордастый, в новеньком синем костюме с четырьмя значками на лацкане, его жена Фаня Яковлевна и маленькая дочь Красная Пресня. Наслаждались погодой и пили лимонад. Ерыгин поклонился.

По заросшей ромашками улице медленно брели епископ в парусиновом халате и бархатной шапочке и Кукуиха с парчевой кофтой на руке:

— Клеопатра — русское имя?

— Да.

— А Виктория?

Пообедав, Ерыгин свернул махорочную папиросу и уселся за газету. Видный германский промышленник г. Вурст изумлен состоянием наших музеев. — Вот вам и варвары!

В дверях остановилась мать. — Так как же на бухгалтерские? — Ее бумазейное платье с боков было до полу, а спереди, приподнятое животом, — короче. — Бухгалтера прекрасно зарабатывают.

Ерыгин подпоясался, взял ведра. На него смотрела из окна Любовь Ивановна. В кисейной кофте, она одной рукой ощупывала закрученный над лбом волосяной окоп, другою с грацией вертела пион.

Против колодца, прищурившись, глядела крототными глазками белогрудая кассирша Коровина в голубом капоте.

— Я извиняюсь, — сказала она. — Не знаете, откуда эта музыка?

— Возвращаются со смычки с Красной армией, — ответил Ерыгин и пошел улыбаясь: вот, если бы поставить ведра, а самому — шасть к ней в окно.

Вечером Любовь Ивановна играла на рояле. Наигравшись, стала у окошка, смотрела в темноту, вздыхала и потрагивала голову — не развился ли окоп.

На комодике поблескивали вазы; розовый рог изобилия в золотой руке, голубой — в серебряной. Мать штопала. Ерыгин переписывал:

Белые бандиты заперли начдива Виноградова в сарай. Настя Голубцова, не теряя времени, сбегала за Красной армией. Бандитов расстреляли. Начдив уехал, а Настя выкинула из избы иконы и записалась в РКП(б).

2.

Стояли с флагами перед станцией. Солнце грело. Иностранцы вылезли из поезда и говорили речи. Мадмазель Вунш, в истасканном белом фетре набекрень, слабеньким голоском переводила.

Они проезжали через разные страны и нигде не видели такой свободы. — Ура! — играла музыка, торжествовали и, гордясь отечеством, смотрели друг на друга.

— Сòвьет репёблик!

— Реакшьон фашишт!

Возбужденные, вернулись. Разошлись по канцеляриям. Товарищ Генералов сел в кабинет с кушеткой и Двенадцатью Произведениями Мировой Живописи, Ерыгин — за решотку.

Захаров и Вахрамеев подскочили расспрашивать. Здоровенные, коротконогие, в полосатых нитяных фуфайках. Они, чорт побери, проспали.

Впустили безработных...

Небо побледнело. Загремела музыка. Любовь Ивановна зажгла лампу, подвила окоп и приколола к кофте резеду.

Ерыгин взял с комода зеркальце, поднес к окну и посмотрелся: белая рубашка с открытым воротом была к лицу.

Девицы выходили из калиток и спешили со своими кавалерами: торопились в сквер — в пользу наводнения.

— Под руководством коммунистической партии поможем трудящимся красного Ленинграда!

Ленинград! Ревет сирена, завоняло дымом, с парохода спускаются пузатые промышленники и идут в музей. Их обгоняют дюжие матросы — бегут на митинги. В окно каюты выглянула дама в голубом...

— Да здравствуют вожди ленинградского пролетариата! — Взревели трубы, полетели в черноту ракеты, загорелись бенгальские огни.

Осветилась круглоплечая Коровина, ухмыляющаяся, набеленная, с свиными глазками, и с ней — кассир Едрёнкин.

Из дворов несло кислятиной. За лугами, где станция, толпились огни и разбредались. Без грохота обогнала телега, блестя шипами.

Ерыгин отворил калитку. Над сараями плыла луна, наполовину светлая, наполовину черная, как пароходное окно, полузадернутое черной занавеской.

— Ты? — удивилась мать. — Скоро!

3.

«Настя» будет напечатана. Пишите»...

У крыльца Любовь Ивановны соскочил верховой. Кинулись к окнам. Она, сияющая, выбежала. Лошадь привязали к палисаднику. Ерыгин приятно задумался. Вспомнил строку из баллады. — Кинематограф, — посмеялась мать и засучила рукава — мыть тарелки.

Золотой шарик на зеленом куполе клуба «Октябрь» блестел. Низ штанов облепили колючие травяные семена. Милиционер с зелеными и красными петлицами стоял у парикмахерской. Ему в глаза томно смотрела восковая дама.

Придерживая рукой под брюхом, на мост прискакали косматый Захаров и гладкий, как паленый поросенок, Вахрамеев. Ерыгин пощупал их мускулы. Закурили махорку.

— Мы поступили на бухгалтерские.

— Нет, — сказал Ерыгин, — у меня в голове другое.

Он пошел. Они взобрались на перила и спрыгнули.

Мадмазель Вунш, скрючившись, сидела под ракитами. В шляпе набекрень, она была похожа

на разбойника. Ерыгин сделал под-козырек. Мадмазель Вунш не видела: уставившись подслеповатыми глазами на светлый запад, она мечтала.

За лугами проходили поезда и сыпали искрами. Стемнело. Сделалось мокро. Ерыгин измучился: ничего из жизни Красной армии или ответственных работников не приходило в голову.

Шагает рота, красная, с узелками и вениками, хочет квасу...

Расскандалился безработный, лезет к товарищу Генералову. А у него на кушетке Фаня Яковлевна с Красной Пресней — принесли котлету. — Товарищ, прошу оставить этот кабинет!..

А постороннее, чего не нужно, вертелось:

Мадмазель Вунш, еще молоденькая, слабеньким голоском диктует: — «Немцы — звери». — На столе клеенка «Трехсотлетие»: толстенькие императорши, в медалях, с голыми плечами и с улыбками...— До свиданья. — Бродит лошадь. Бородатые солдаты молча плетутся на войну. У дороги стоит барыня — сует солдатам мармелад. Последние три штучки отдает Ерыгину...

На каланче прозвонили одиннадцать. Из-за крыш вылезла луна — красная, тусклая, кривая.

Ерыгин стучался домой мрачный. Любовь Ивановна в ночной кофте, с бумажками в волосах, высунулась из окна и смотрела: к кому?

4.

Перед столовой «Нарпит» воняло капустой, и, поглядывая поверх очков, прохаживался около своего ящика панорамщик. Здесь Ерыгин замедлял шаги и, повернув голову, смотрел в окно. Видны были тарелки с хлебом и горчичницы. В глубине клевала носом плечистая кассирша. — Бельгийский город Льеж посмотрите? — подкрадывался панорамщик. Ерыгин встряхивался и бежал на бухгалтерские.

Будет много получать, придет пить пиво...

Глина раскисла. У Фани Яковлевны засосало калошу. Безработные не приходили. Ерыгин с Захаровым и Вахрамеевым сдвигали табуретки и болтали. Сблизив головы, смотрели, как Захаров рисует Германию под пятой плана Дауэса: дождь, плавают утки, рабочие с бритыми головами таскают камни, надсмотрщики щелкают коровьими кнутами, из-под зонтика выгляды-

вают социал-предатели, потирают руки и хихикают.

К праздникам подмерзло. Выпал снег. Седьмого и восьмого веселились. Выбралась и мать в клуб «Октябрь». Возвращаясь, плевалась.

Висели тучи. С канцелярии убирали транспаранты и гирлянды из крашеных бумажек: — Империалистические хищники, терзающие Китай! Прочь грязно-кровавые руки от великого угнетенного народа.

За рекой было бело — с черными кустиками. Сзади звонили. Навстречу мужики гнали коров. По брошенным вместо мостика конским костям Ерыгин перешел через ручей.

Тащились с сеном. Тоненькие стебельки свисали и чертили снег... Что-то припомнилось. Барабанный треск, песок, тонко исчерченный... По зеленой улице с серыми тропинками разгуливают архиерей и нэпманша — затевают контр-революцию. Интеллигентка Гадова играет на рояле. Товарищ Ленинградов, ответственный работник, влюбляется. Ездит к Гадовой на вороном коне, слушает трели и пьет чай. Зовет ее в РКП (б), она — ни да, ни нет. В чем дело? Вот, Гадова выходит кормить кур. Товарищ Ленинградов заглядывает в ящики и открывает заговор. Мужественно преодолевает он свою любовь.

Губернская курортная комиссия посылает его в Крым. Суд приговаривает заговорщиков к высшей мере наказания и ходатайствует о ее замене строгой изоляцией: Советская власть не мстит.

1924.


Савкина

САВКИНА.

I.

Савкина, потряхивая круглыми щеками, взглядывала на исписанную красными чернилами бумагу и тыкала пальцем в буквы машинки.

Дунуло воздухом. — Двери! Двери! — закричали конторщики. Вошел кавалер — щупленький, кудрявый, беленький...

Солнце грело затылок. Гремели телеги. Гуляли чванные богачки Фрумкина и Фрадкина. Морковникова, затененная бутылками, смотрела из киоска.

Блестя трубами, играли похоронный марш. Несли венки из сосновых ветвей и черные флаги. На дрогах с занавесками везли в красном гробу Олимпию Кукель.

Савкина пригладила ладонями бока и, пристроившись к рядам, промаршивала несколько кварталов.

Повздыхала. Как недавно сидели за сараями. День кончался. Толклись мошки. — Все так прилично одеты, — уверяла Олимпия и таращила глаза. — У некоторых приколоты розы... Ах, родина, родина!..

Мать, красная, стояла у плиты. Павлушенька, наклонившись над тазом, мыл руки: обдернутая назад короткая рубашка торчала из-под пояса, как заячий хвостик.

Накрыли стол. — Не очень налегайте на пироги, — предупредила мать и пригорюнилась: — Бедная Олимпия. Без звона, без отпевания.

Разделавшись с посудой, Савкина припудрилась, взяла тетрадь и, втирая в руки глицерин, вышла за сараи почитать стишки. Кукель в синем фартуке доил корову.

— Обижаются, что без ксендза, — пожаловался он. — А когда я — партейный.

На обложке тетради был Гоголь с черными усиками:

«Чуденъ Днѣпръ при тихой погодѣ».

Появилась маленькая белая звезда. Савкина, мечтательная, встала и пошла к воротам.

У Кукеля шумели поминальщики. Где-то наигрывали на трубе. Павлушенька, с побледневшим лицом и мокрыми волосами, вернулся с купанья. Покусывая семечки, пришел Коля Евреинов. Воротник его короткой белой с голубым рубашки был расстегнут, черные суконные штаны от колен расширялись и внизу были как юбки.

2.

На полу лежали солнечные четырехугольники с тенями фикусовых листьев и легкими тенями кружевных гардин. Савкина заваривала чай. Павлушенька брился.

Мать, в коричневом капоте с желтыми цветочками, чесала волосы.

— Зашла бы ты, Нюшенька, в ихний костел, — сказала она, — и поставила бы свечку.

В маленьком бревенчатом костеле было темно и холодно. Свечного ящика не оказалось. Низенький ксендз Валюкенас сделал перед алтарем последний реверанс и отправился за перегородку. Вздохнув, поднялась

и прошла мимо Савкиной Марья Ивановна Бабкина, француженка, — в соломенной шляпе с желтым атласом, полосатой кофте и черной юбке на кокетке, обшитой лентами.

Несло гарью. Сор шуршал по булыжникам. В канцелярии висел портрет Михайловой, которая выиграла сто тысяч. Воняло табачищем и кислятиной. Стенная газета «Красный Луч» продергивала тов. Самохвалову: оказывается, у ее дяди была лавка...

Оглядывая друг друга, расхаживали по залу. Мимоходом взглядывали в зеркало. Савкина, в лиловой кофте пузырем, смеялась и шмыгала глазами по толпе. Коля Евреинов наклонял к ней бритую голову. Его воротник был расстегнут, под ключицами чернелись волоски!

— Буржуазно одета, — показывал он. — Ах чтоб ее!..

На живописных берегах толпились виллы. Пароходы встретились: мисс Май и клобмэн Байбл стояли на палубах... И вот, мисс Май все опротивело. Ее не радовали выгодные предложения. Жизнь ее не веселила. По временам она откидывала голову и протягивала руки к пароходу, проплывавшему в ее мечтах.

Вдруг из автомобиля выскочил Байбл — в охотничьем костюме и тирольской шляпе.

Савкина была взволнована. Ей будто показали ее судьбу...

Лаяли собаки. Капала роса. Морковникова в киоске, освещенная свечой, дремала.

3.

После обеда Савкиной приснился кавалер. Лица было не разобрать, но Савкина его узнала. Он задумчиво бродил между могилами и вертел в руках маленькую шляпу.

Окна флигеля были раскрыты и забрызганы известью: Кукель переехал в Зарецкую, к новой жене.

На деревьях зеленели яблоки. Небо было серенькое, золотые купола — белесые. Гуляльщики галдели. Фрида Белосток и Берта Виноград щеголяли модами и грацией.

На мосту сидели рыболовы. В темной воде отражались зеленоватые задворки. Купались два верзилы — и не горланили.

Савкина вошла в ворота. Пахло хвоей. На крестах висели медные иконки. Попадались надписи в стихах. За кустами мелькнул жел-

тый атлас Марьи-Иванниной шляпы и румянец ксендза Валюкенаса.

Дома — пили чай. Сидела гостья.

— Наука доказала, — хвастался Павлушенька, — что бога нет.

— Допустим, — возражала гостья и, полузакрыв глаза, глядела в его круглое лицо. — Но как вы объясните, например, такое выражение: мир божий?

Расправляя юбки, Савкина уселась. Налила на блюдечко.

— Опять я их встретила.

— Не собирается ли в католичество? — мечтательно предположила гостья.

— Проще, — сказал Павлушенька и махнул рукой. Мать, улыбаясь, погрозила ему пальцем. Посмеялись.

— Съешьте плюшечку, — усердствовала мать: — американская мука — вообразите, что вы — в Америке!

Савкина грустила над стишками. Павлушенька пришел с купанья озабоченный и, сдвинув скатерть, сел писать корреспонденцию про Бабкину: «Наробраз, обрати внимание».

4.

Савкина, растрепанная, валялась на траве. Била комаров. Сорвала с куста маленькую розу и нюхала. Она устала — задержали переписывать о поднесении знамени.

Приятно улыбаясь, из калитки вышла с башмаками в руке новая жилица и пошла к сапожнику... Мимо палисадника прошел отец Иван.

— Роза, Роза, —

— вбежал в дом Павлушенька. — Где моя газета с статьей про Бабкину? — Запыхавшись, высунулся из окна. — Нюшка, где газета? Мы с ним подружились. Как я рад. Он разведенный. Платит десять рублей на ребенка... — Этот — говорит, — пень, давайте выкопаем и расколем на дрова.

Деря глотку, проехал мороженщик. Пришел Коля Евреинов в тюбетейке: у калитки обдернул рубашку и прокашлялся.

— Идите за сарай, — сказала мать в комнате: — Он там с сыном новой жилицы: подружились.

Вопили и носились туда и назад Федька, Гаранька, Дуняшка, Агашка и Клавушка. Собачонка Казбек хватала их за полы. Мать в доме зашаркала туфлями. Загремела самоварная труба.

— Иди, зови к чаю.

— Всех коммунаров, —

пели за сараями, —

Он сам привлекал
К жестокой, мучительной казни.

Сидели обнявшись и медленно раскачивались. Савкина остановилась: третий был тот, щупленький.

1924.

Лидия

ЛИДИЯ.

1.

На руке висела корзинка с покупками. Одеколон «Вуайаж» Зайцева вынула и любовалась картинкой: путешественники едут в санях. Внюхивалась. Правой рукой подносила к губам с белыми усиками на пятиалтынный мороженого.

— Лейся, песнь моя,
Пионерска-я!

Коренастенький, с засученными рукавами, с пушком на щеках, шагал сбоку и, смотря на ноги марширующих, солидно покрикивал:

— Левой!

— Это кто ж такой? — спросила Зайцева.

— Вожатый, — пискнула белобрысая девчонка с наволокой и, взглянув на Зайцеву, распялила наволоку над головой и поскакала против ветра.

У запертой калитки дожидался Петька.

— Здравствуйте, — сказал он. — Утонул солдат.

Уселись за стол под грушей. Петька отвечал уроки. Зайцева рассеянно смотрела за забор.

Выкрутасами белелись облака. На горке, похожее на бронированный автомобиль, стояло низенькое серое Успенье с плоским куполом.

— Рай был прекрасный сад на востоке.

Прекрасный сад!..

После обеда муж читал газету. — Каковы китайцы, — восхищался он. Напился чаю и лег спать.

Пришла Дудкина в синем платье. Сидели под грушей. У ворот заблеяла коза.

Оживились. Почесали у нее между рогами, и она, довольная, полузакрыла желтые глаза с белыми ресницами.

— Водили к козлику? — интересовалась Дудкина.

Успенье стало черным на бесцветно-светлом небе. Выплыла луна.

— Я пробовала все ликеры, — сказала Дудкина задумчиво: — у Селезнева, на его обедах для учителей.

2.

Зайцева, в кисейном платье с синими букетиками, оттопыривала локти, чтобы ветер освежал вспотевшие бока. Коротенькая Дудкина еле поспевала. Муж пыхтел сзади.

Свистуниха, в беленьком платочке, выскочила из ворот. Смотрела на дорогу.

— Принимаю икону, — похвалилась она.

— А мы — к утопленнику, — крикнул муж.

Остановились у кинематографа: были вывешены деникинские зверства. Из земли торчали головы закопанных. К дереву привязывали девицу...

Перед приютом, вскрикивая за картами, сидели дефективные:

— Дом Зуева, — вздохнула Дудкина. — Здесь была крокетная площадка. Цвел табак...

Прошли казарму, красную, с желтым вокруг окон. Взявшись за руки, прогуливались по-двое и по-трое солдаты.

Над водоворотом толклись зрители. Играли на гитаре. Часовой зевал.

Зайцевы поковыряли кочку — нет ли муравьев. Муж развернул еду.

Молодые люди в золотых ермолках, расстегивая пуговицы, соскочили к речке.

— Нырни, — веселились они, — и скажи: под лавкой.

Смеялись: — Пока ты нырял, мы спросили, где тебя сделали.

Дудкина прищурилась. Муж щелкнул пальцами: — Эх, молодость!

— «Левой!» — замечталась Зайцева.

Возвращаясь, поболтали о политике.

— Отовсюду бы их, — кипятился муж.

— Нет, я — за образованные нации, — не соглашалась Дудкина.

Встретились со Свистунихой. Она управилась с иконой и спешила, пока светло, к утопленнику.

3.

Муж пришел насупленный. Из канцелярии он ходил купаться, в переулочке увидел на заборе клок черной афиши с желтой чашей: голосуйте за партию с-р. Вспомнил старое, растрогался... После обеда — повеселел.

— Утопленник, — рассказывал он новость, — выплыл.

Зайцева купила кнопок. Бил фонтанчик, и краснелись низенькие бегонии и герани перед статуей товарища Фигатнера.

Потемнело. С дерева сорвало ветку. Полетела пыль.

«Закусочная всех холодных закусок», — прочла Зайцева над дверью. Вскочила.

— Я мыла голову, — уныло улыбаясь, сказала толстая хозяйка с распущенными волосами. Откупорила квас. — У меня печник: вчера поставила драчёну — получился сплошной закал.

На столе была ладонь с окурками. Две розы без ножек плавали в блюдечке.

Вбежала мокрая девица и, косясь внутрь комнаты, толстенькими пальцами отдирала от грудей прилипавшую кофту.

— Радуга! — Девица выскочила. Вышли с хозяйкой на крыльцо.

Вожатый, коренастенький, без пояса, босиком, размахивая хворостиной, выпроваживал на улицу козла.

— Ихний? — просияла Зайцева.

Туча убегала. Кричали воробьи. Мальчишки высыпали на дорогу, маршировали:

— Красная армия
Всех сильней!

Плелись коровы. Важная и белая, раскачивая круглыми боками и задрав короткий хвостик на кожаной подкладке, шла коза. Зайцева позвала:

— Лидия, Лидия!

— Лидия, Лидия, — вывесились из окон дефективные.

Закат светил на вывеску с четырьмя шапками. Играли вальс. В окне лавчонки висел ранец.

— Жоржик, — закричала Свистуниха и остановилась с ведрами в руках.

Это Лидию прежде звали Жоржиком: Зайцева переименовала. — Не женское имя, — объясняла она.

1925.

Ҫорокина

СОРОКИНА.

I.

Заходил правозаступник Иванов с брюшком и беленькими усиками: рассказал два таинственных случая из своей жизни.

Сорокина, откинувшись на спинку, рассеянно слушала. Смотрела равнодушно и снисходительно, как ленивая учительница. Над стулом висел календарь и Энгельс в кумачной раме.

Ломились в лавки. Несло постным. Взлетали грачи с прутьями в клювах. Гора на другом берегу была бурая, а зимой — грязно-белая, исчерченная тонкими деревьями, будто струями дождя.

— Перед ротой командир, —

пели солдаты, —

Хорошо маршировал.

С полотенцем на руке, Сорокина смотрелась в зеркало: под глазами начинало морщиться.

Пришел отец, веселый:

— Я узнал рецепт, как варить гуталин.

Мать поставила на стол солонку и проворно подошла к окну.

— Пахомова! Вся изогнулась. Откинулась назад. Остановилась и оглядывается.

И, поправив черную наколку, осанисто, словно дама на портрете в губернском музее, посмотрела на отца.

Он, бравый, с висячим носом, как у тапира в «Географии», стоял перед зеркалом и протирал стетоскоп.

Тучи разбегались. Старуха Грызлова, в черной мантилье с кружевами и стеклярусом, несла церковную свечу в голубом фарфоровом подсвечнике.

— Сегодняшний ветер, — подняла она палец, — до вознесенья.

То там, то здесь ударяли в колокол.

Сорокина поколебалась. Нищая открыла дверь.

Тоненькие свечи освещали подбородки. Духовные особы в черном бархате толпились на средине, перед лакированным крестом.

— Глагола ему Пилат!..

Пахомова, в толстом желтом пальто, не мигая, смотрела на свою свечку.

Моргали звезды. Сторож, задрав бороду, стоял под колокольней:

— Нюрка! шесть раз бей.

— Я полагала, вы неверующая, — подошла курносенькая регистраторша Мильонщикова.

Вертелась карусель, блестя фонариками, и, болтая пестрыми подвесками, медленно играла краковяк.

— Русский, немец и поляк, —

напевала Мильонщикова.

Светился погребок. Пошатываясь, вылезли конторщики:

— Ваня, не падай...

— Кто это?

— Не знаю. Вылитая копия Дориана Грэя — как вы полагаете?

Ваня. Плескались в вставленных в вертушку бутылках кагор и мадера, освещенные лампочками.

Ваня.

2.

На скамейках губернского стадиона сидели няньки. Голый малый в коротеньких штанишках, задыхаясь, бегал вдоль забора.

Сорокина встала и, оглядываясь, медленно пошла.

— Вы не Василий Логгинович? — прислонясь к воротам, тихо спросил пьяный.

Грудастая девица сунула записку и отпрянула:

«Придите, послушайте слово «За что умер Христос».

Цвела картошка. На оконцах красовались занавесочки, были расставлены бутылки с вишнями и сахарным песком. Побулькивали граммофоны.

Поздоровалась дебелая старуха в красной кофте — уборщица Осипиха.

— Товарищ Сорокина, — сказала она, — я извиняюсь: какая чудная погода.

Голубые и зеленые пространства между облаками бледнели.

На гвозде была чужая шапка и правозаступникова палка с монограммами.

Самовар шумел. На скатерти краснел отсвет от вазочки с вареньем.

— Религия — единственное, что нам осталось, — задушевно говорила мать: — Пахомова — кривляка, но она — религиозная, и ей прощаешь.

И, держа на полдороге к губам чашку, значительно глядела на отца.

Он дунул носом.

Правозаступник принялся рассказывать таинственный случай. В тени на письменном столе показывал зубы череп.

Фонари горели под деревьями. Музыканты на эстраде подбоченивались, покуривали и глазели.

Заиграли вальс. Притопывая, кавалеры чинно танцовали с кавалерами. Расходясь, раскланивались и жали руки.

Сорокина ждала в потемках за скамейками.

Вот он. Шапка на затылке, тоненький...

Если бы она его остановила:

— Ваня, —

может быть, все объяснилось бы: он перепутал, думал, что не в пять, а в шесть.

— Не забираться же с пяти, раз — в шесть.

Она взяла бы его за руку. Он ее повел бы:

— Мы поедем в лодке. У меня есть лодка «Сун-Ят-Сен».

3.

Мать вышла запереть. В сандалиях, она стояла низенькая, и ее наколка была видна сверху, как на блюдечке.

Старуха Грызлова прогуливалась — в пелерине. Нагибалась и рассматривала листья на земле.

— Шершавым кверху, — примечала она: — к урожаю.

В открытое окно Сорокина увидела затылок ее внучки. Она сидела за роялем и играла вальс «Диана».

Правозаступник Иванов, опершись на окно, стоял снаружи. Покачивая головой, он пел с чувством:

— Дэ ин юс вокандо.
Дэ акционэ данда.

И его чванное лицо было мечтательно: приходила в голову Италия, вспоминался университет.

Развевались паутины. Под бурыми деревьями белелась церковь с синими углами.

— Мама, — кляузничала девчонка за забором: — Манька поросенка то розгами, то — пугает.

Библиотекарша смотрела на входящих и угадывала:

— «Джимми Хиггинс»?

По улице Вождей слонялись кавалеры в наглаженных штанах и девицы в кожаных шляпах:

— В Америке рекламы пишутся на облаках... — Мечтали.

В сквере подкатилась Осипиха с георгиной на груди и старалась разжалобить:

— Говорят, я гуляка, — горевала она, — а я и дорог не знаю.

— В первую декаду — иссушающие ядра, — предложил газету зеленоватый старичок, — во вторую — обложные дожди.

Подсела Мильонщикова:

— Пройдемся в поле.

Голубенькое небо блекло. Тоненькие птички пролетали над землей.

— Помните, — оглянулась и понизила голос Мильонщикова: — однажды весной мы обратили внимание...

Молчали. В городе светлелись под непогасшим небом фонари.

Расстались не скоро.

— Эти звезды, — показала Сорокина, — называются Сэптэнтрионэс...

Отец, приподняв брови, думал над пасьянсом. Мать порола ватерпруф. Сорокина раскрыла книгу из библиотеки.

Тикали часы. Били. Тикали.

Собака за окном лаяла по-зимнему.

«Дориан, Дориан», — там и сям было напечатано в книге:

— «Дориан, Дориан».

1925.

Сиделка

СИДЕЛКА.

Под деревьями лежали листья.

Таяла луна.

Маленькие толпы с флагами спускались к главной улице. На лугах за речкой блестел лед, шныряли черные фигурки на коньках.

— Здорòво, — трогал шапку Мухин. Улыбаясь, бежал вниз. Выше колен — белело от футбола.

Толклись перед дворцом труда. Товарищ Окунь, культработница, стояла на балконе со своим секретарем Володькой Граковым.

— Вольдемар — мое неравнодушие, — говорила Катя Башмакова и смотрела Мухину в глаза...

Наконец отправились. Играла музыка. На кумаче блестела позолота. Над белыми домами канцелярий небо было синее.

На площади Жертв выстроились. Здесь были похоронены капустинская бабушка и, отдельно, товарищ Гусев.

Закрытое холстом, торчало что-то тощее.

— Вдруг там скелет, — хихикала товарищ Окунь.

Сдернули холстину. Приспустились флаги. Заиграл оркестр. У памятника егозили, подсаживали взлезавших на трибуну.

— Товарищ Гусев подошел вплотную к разрешению стоявших перед партией задач!

Вертелись. Сзади было кладбище, справа — исправдом, впереди — казармы.

Щекастая в косынке — сиделка — высунув язык, лизала губы и прищуривалась.

Мухин присмотрелся, вышел из рядов и караулил. На него заглядывались: тоненький, штанишки с отворотами, над туфлями — зеленые носки.

Начинали разбредаться. Гусевский отец, в пальто боченком — с поясом и меховым воротником, взял Мухина за пуговицу:

— Каково произведение! — протянул он руку к обелиску с головой товарища Гусева на острие.

Сиделка уходила.

— Мне необходимо, — устремился Мухин. — Пардон.

Дорогу перерезали. Трубя, маршировали — хоронили исключенную за неустойчивость самоубийцу Семкину.

— Вы жертвою пали.

Ее приятельница, кандидатка Грушина, ревя, смотрела из ворот:

— Дисциплинированная, — похвалил растратчик Мишка-Доброхим: — в процессии не участвует.

Сиделка скрылась...

За лугами бежал дым и делил полоску леса на две — ближнюю и дальнюю.

Запихав руки в карманы, Мишка, сытенький, посвистывал.

— Выпустили? — встрепенулся и поздравил его Мухин.

Спустились вниз. Здоровались с встречавшимися. Останавливались у афиш.

— Иду домой, — простился Мишка. — Обедать.

На крае зеркальца в окне «Тэжэ» блестела радуга. Кругом была разложена «Москвичка» — мыло, пудра и одеколон: пробирается к кому-то, кутается в горностай, ночь синяя, снежинки...

Захотелось небывалого — куда-нибудь уехать, быть кинематографическим актером или летчиком.

В столовой Мухин засиделся за газетой. Открывающийся памятник — образец монументального искусства...

Спускалось солнце. Церкви розовелись.

Шаги стучали по замерзшей глине.

В комнатке темнело. Над столом белелось расписание: физкультура, политграмота...

В гостиной у хозяйки томно пела Катя Башмакова и позванивала на гитаре.

Пришел Мишка. Прислушался. Состроил хитрое лицо.

— Нет, — покачал Мухин головой печально: — кому я нравлюсь, мне не нравятся. А чего хотел бы, того нет.

— Это верно, — согласился Мишка.

Светились звезды. У ворот шептались. Шелестели листья под ногами.

Шли под-руку. Задумчивые, напевали:

— Чистим, чистим,
Чистим, чистим,
Чистим, гражданин.

Спустились к речке: тихо, белая полоска от звезды. Зашли в купальню и жалели, что не захватили семечек, а то бы здесь можно посидеть.

Потолкались у кинематографа: граф разговаривает с дамой. Поспешили взять билет...

В столовой «Моссельпром» гремела музыка. Таинственно горела маленькая лампа. — Где вода дорогà? — говорили за столиком. — Рога у коровы, вода — в реке.

За прилавком дремала хохлушка в коричневом галстуке. Подбодрили ее: — Веселей!

Стаканы, чтобы чего-нибудь не подцепить, ополоснули пивом. Чокнулись.

— Я чуть не познакомился с сиделкой, — сказал Мухин.

1926.

Лешка

ЛЕШКА.

Лешка соскочил с кровати. Мать дежурила.

Склонившись, словно над колодцем, чуть белелась полукруглая луна. Не шевелилась жидкая береза с темными ветвями. На траве блестели капельки. Поклевывая, курицы с цыплятами бродили по двору.

Покачивая животом, в черном капоте с голубыми розами, по лестнице спустилась Трифониха. У нее в руке был ключ, а на руке висела вышитая сумка с тигром.

— Фу, — покосилась Трифониха, — поросенок! — и, важная, отправилась за булками.

— Я мылся, — крикнул ей вдогонку Лешка.

Усатый водовоз, кусая от фунта ситного, гремел колесами. Пыль сонно поднималась и опять укладывалась.

— Дяденька, — умиленно попросился Лешка, — прокати, — и водовоз позволил ему сесть на бочку.

Завидовали бабы, несшие на коромыслах связки глиняных горшков с топленым молоком, кондукторша в очках, которая гнала корову и замахивалась на нее веревкой, и четыре жулика, сидевшие под горкой и разбиравшие мешок с бельем.

— Обокрали чердак, — показал водовоз и ссадил Лешку на землю.

Солнце поднялось и припекало. Освещало ситный в чайной Силебиной. Мальчишка из кинематографа расклеивал афиши. Там было напечатано: «Бесплатное», но Лешка не умел читать.

В палисаднике с коричневым забором, сидя на скамье под вишнями, нежился на солнышке матрос и играл на балалайке.

— Трансваль, Трансваль...

Было хорошо у палисадника. Забор уже нагрелся и был теплый, сзади пригревало плечи, пахло клевером.

Матрос...

А мать уже вернулась и перед осколком зеркала чесала волосы.

Пили кипяток с песком и с хлебом. Отдувались. Мать велела не ходить на речку и, задернув занавеску, легла спать.

Вдруг загремела музыка. Все бросились.

Блестели наконечники знамен. Трещали барабаны. Пионеры в галстуках маршировали в лес. Телега с квасом громыхала сзади.

Вслед! с мальчишками, с собачонками, размахивая руками, приплясывая, прискакивая:

— В лес!

Вдоль палисадников, вертя мочалкой, шел матрос. Его голубой воротник развевался, за затылком порхали две узкие ленточки.

Матрос! Стихала, удаляясь, музыка, и оседала пыль. У Лешки колотилось сердце. Он бежал на речку — за матросом.

Матрос! Со всех сторон сбежались. Плававшие вылезли. Валявшиеся на песке — вскочили.

Матрос!

Коричневый, как глиняный горшок, он прыгнул, вынырнул и поплыл. На его руке был синий якорь, мускулы вздувались — как крученый ситный у Силебиной на полке.

— Это я его привел, — хвалился Лешка.

Было жарко. Воздух над рекой струился. Всплескивались рыбы. Проплывали лодки, женщины в цветных повязках нагибались над бортом и опускали в воду пальцы.

Купальщики боролись, кувыркались и ходили на руках.

А солнце подвигалось. Было сзади, стало спереди — пора обедать.

Мать ждала. Картошка была сварена, хлеб и бутылка с маслом — на столе.

Наелись. Мать похваливала масло. Облизали ложки. Вышли на крыльцо.

Во дворе, разостлав одеяла, сидели соседки. Качали маленьких детей, тихонько напевали и кухонными ножами искали друг у друга в голове.

— И мы устроимся, — обрадовалась мать и сбегала за одеялом.

Лежали. Лешка положил к ней на колени голову. Она перебирала пальцами в его кудлатых волосах.

По небу пролетали маленькие облачка в матросских куртках, облачка, похожие на ситный и на вороха белья.

— Бабочки, — вскочила мать, — купаться, так купаться: опоздаем на бесплатное.

Бесплатное!

Повскакали, зашмыгали, повязали головы и выбежали за ворота. Бегали на перегонки и смеялись, а потом притихли и печально пели:

— Платье бедняги за корни цепляется,
Ветви вплелись в волоса.

Срывали жесткую высокую траву — класть под ноги, когда выходишь на берег. Тек горький белый сок и засыхал на пальцах.

Молотя ногами, плавали и, взвизгивая, приседали. Лешка, стоя у воды, месил ступнями

грязь. Садилось солнце. Начали кусаться комары.

Квакали лягушки. Небо выцвело. Трава похолодела.

Пыль в колеях лежала теплая и грела ноги. Улица кипела. Все спешили на бесплатное.

Шел водовоз, поглядывая сверху вниз, как с бочки, и крутя усы.

Помахивая рукой, как-будто в ней была веревка, торопилась старая кондукторша, и весело бежали обокравшие чердак четыре жулика.

Был гвалт. Стояли очереди к мороженщикам. Шуршала подсолнечная шелуха. В саду горели фонари, играла музыка и бил фонтан. Мать потерялась. Маленьких в кинематограф не пускали. Лешка заревел.

Темнело. Музыка кружилась невысоко, прибитая росой. Силебина сидела на крылечке — тихо, тихо, задумчивая, не замахивалась полотенцом, не орала.

В палисаднике, впотьмах, матрос тихонечко наигрывал на балалайке:

— Трансваль, Трансваль.

Он, как и Лешка, не был на бесплатном — миленький...

Вздыхая, по двору прохаживалась Трифониха и, любуясь звездочкой, жевала. Из сумки с тигром вынула пирог и протянула Лешке.

Сидя на ступеньке, он стал есть, пихая в рот обеими руками: пирог был сладкий, а руки — соленые от грязи и горькие от той травы, которую он рвал, когда шел с матерью на берег.

1926.

Конопатчикова

КОНОПАТЧИКОВА.

1.

Бросая ласковые взгляды, инженер Адольф Адольфович читал доклад: «Ильич и специалисты».

Добронравова из культкомиссии, стриженая, с подбритой шеей, прохаживалась вдоль стены и повторяла по брошюрке. Следующее выступление ее: «Исторический материализм и раскрепощение женщины».

Конопатчикова, низенькая, скромно посмотрев направо и налево, незаметно поднялась и улизнула. — Боль в висках, — пробормотала она на всякий случай, поднося к своей седеющей прическе руку, будто отдавая честь.

Плелись старухи с вениками, подпоясанные полотенцами. Хрустел обледенелый снег. Темнело. Не блестя горели фонари.

Звенел бубенчик: женотделка Малкина, поглядывая на прохожих, ехала в командировку.

Сидя на высоком табурете, инвалидка Кац, величественная, отпустила булку. Стрелочник трубил в рожок. Въезд на мост уходил в потемки, и оттуда, вспыхнув, приближалась искра. Обдало махоркой, с песней прошагали кавалеры:

— Ветер воет, дождь идет,
Пушкин бабу в лес ведет.

Гудели паровозы. Дым подымался наискось и, освещенный снизу, желтелся. Из ворот, переговариваясь, выходили Вдовкин и Березынькина: поклонились праху Капитанникова и были важны и торжественны.

Конопатчикова с ними кое-где встречалась. Она остановилась и приветливо сказала: — Здравствуйте.

Негромко разговаривали и печально улыбались: Конопатчикова в шерстяном берете с кисточкой, Вдовкин, плечистый и сморкающийся, и Березынькина, кроткая, с маленькой головкой. Раздался первый удар в колокол. Примолкли и, задумавшиеся, подняли глаза. Вверху светились звезды.

— Жизнь проходит, — вздохнул Вдовкин и прочел стишок:

— Так жизнь молодая
Проходит бесследно.

Дамы были тронуты. Он чиркнул зажигалкой. Осветился круглый нос, и в темноте затлел кончик папиросы.

Сговорились вечером пойти на стружечный.

2.

«Машинистка Колотовкина, — поглядывая на часы, сидела Конопатчикова за губернской газетой, — пассивна и материально обеспечена.

Зачем писать ей на машине?
Может играть на пианине».

Зашаркали в сенях калоши. Постучались Вдовкин и Березынькина. Похвалили комнату и осмотрели абажур «Швейцария» и карты с золотым обрезом. Тузы были с картинками: «Ль эглиз дэз Энвалид», «Статю дэ Анри Катр».

— Парижская вещица, — любовался Вдовкин. — Я и сам люблю пасьянсы, — говорил он: — «Дама», например, «В плену», «Всевидящее око»...

— «Деревенская дорога», — подсказала Конопатчикова.

Вытянули перед собою руки, вышли. Пахло ладаном. Учтивый Вдовкин осветил ступеньки зажигалкой.

Наверху захлопали дверьми: Капитанничиха выбежала в сени убиваться по покойнике.

— И зачем ты себе все это шил, — причитала она,—

— Если ты носить не хотел? — и притопывала.

— И зачем ты пол в погребе цементом заливал,

Если ты — жить не хотел?

Остановились и, послушав, медленно пошли по темным улицам, оглядываясь на собак.

«Жизнь без труда», — было написано над сценой в театре стружечного, — «воровство, а без искусства — варварство». Оркестр играл кадриль.

Рвал, рявкая, железные цепи и становился в античные позы чемпион Швеции Жан Орлеан. Скакали и плясали мадмазели Тамара, Клеопатра, Руфина и Клара и, тряся юбчонками, вскрикивали под балалайки:

— Чтоб на службу
Поступить,
Так в союзе
Надо быть.

— Эх, — сияя, передергивал плечами Вдовкин. Конопатчикова улыбалась и кивала головой...

Морозило. Полоска звезд серелась за трубою стружечного. Постукивало пианино. В форточке вертелся пар. За черными на светлом фоне розами и фикусами отплясывали вальс, припрыгивая и кружась.

— Счастливые, — скрестила на груди ладони и задумалась Березынькина.

— Они, — проникновенным голосом сказала Конопатчикова, — читают книгу, очень интересную. Заглавие выскочило у меня из головы.

Поговорили о литературе...

Улыбающаяся, полная приятных мыслей, Конопатчикова ощупью нашла края лампы: загорелись звезды над швейцарскими горами и цветные огоньки в окошках хижин и лодочных фонариках.

В дверь поскреблись. В большом платке, жеманная, вскользнула Капитанничиха. С скромными ужимками, перебирая бахрому платка, она просила, чтобы завтра Конопатчикова помогла в приготовлениях к поминкам.

— Не откажите, — двигала она боками, егозливая, и прижимала голову к плечу. — Я загоню его костюмчики, и пусть все будет хорошо, прилично.

3.

У Капитанничихи кашляли духовные особы. Пономарь в сенях возился над кадилом. Конопатчикова, проходя, взяла щепотку дыма и понюхала.

Блестел на колокольне крест. Флаг над гостиными рядами развевался. Тетка Полушаль-

чиха кричала и потряхивала капитанниковскими костюмчиками.

— Маруська убивается? — спросила она, наклоняясь и прикрывая рот рукой, и, выпрямившись, в черном плюшевом пальто квадратиками, гордая, победоносно огляделась.

Конопатчикова в ожидании бродила. Солнце пригревало. Под ногами хлюпало.

Дремали лошади. Толкались с бабами солдаты в шлемах, долгополые и низенькие. Середняки, столпившись за возами, пили из зеленого стаканчика.

Вдоль домов, по солнышку, ведя за ручку маленького сына в полосатом колпачке, прохаживался инженер Адольф Адольфович. Он жмурился на свет и улыбался людям на крылечке, согнувшись ждавшим очереди в зубоврачебный кабинет его жены.

Стал слышен похоронный марш, и показались черные знамена. Сбежались. Мужики смотрели, опустив кнуты. Вздыхали бабы в кружевных воротничках на зипунах и в елочных бусах.

Народу было много. Капитанничиха вскрикивала. Вдовкин, подпевая, шел с склонившей на бок голову Березынькиной. Конопатчикова проводила их глазами.

— Продала, — сказала, протолкавшись, Полушальчиха и показала деньги. Начали покупки для поминок.

Возвращались на дровнях, спиною к лошади. Блестела на дороге жижа. Воробьи кричали. Убегал базар. Беседовали, выйдя постоять на солнце, оба в фартуках, кондитер Франц и парикмахер Антуан...

Капли с крыши падали перед окном. Сизо-лиловый дым взлетал над паровозами. В плите шумел огонь.

Внизу, перебирая струны балалайки, вполголоса пел мрачные романсы рабкор Петров. В углах темнело.

— Никишка, — говорила Полушальчиха и плакала над хреном, — нарисовал картину «Ленин»: это — загляденье.

На кофейной мельнице был выпуклый овал с голландской королевой Вильгельминой. Конопатчикова медленно молола, стоя у окна. Задумавшись, она глядела вслед начальнику милиции, скакавшему, красуясь, в сторону моста и инвалидки Кац. Воспоминания набегали.

4.

Поблескивали рюмки, и бутылки, толстобрюхие и тоненькие, мерцали. Капитанничиха, в черном платье, прилизанная, постная, стояла у стола и, горестная, любовалась.

Конопатчикова, скромно улыбаясь, завитая и припудренная, сидела на диване и своричи-

вала в трубку листик от календаря: рисунок «Нищета в Германии» и две статьи — «О пользе витаминов» и «Теория относительности».

— Благодари, Марусенька, — учила Полушальчиха и, разводя руками, низко кланялась, как в «Ниве» на картинке «Пляска свах».

Входили гости. Конопатчикова выпрямлялась и в ожидании смотрела на отворявшуюся дверь...

Стучали ложки, и носы, распарившись над супом, блестели. Полушальчиха, одетая кухаркой, в фартуке, прислуживала. Кланялись Маруське, подымая рюмочки. Она откланивалась, скорбная, и выпивала.

Повеяло акацией. Любезно улыбаясь прибыла внушительная Куроедова. — Как ваши, — с уважением справлялись у нее, — на стружечном? — Они, — засуетилась Конопатчикова, — еще читают эту книгу, интересную? — «Тарзан?» — спросила Куроедова, глотая...

Красные, блаженно похохатывая и роняя вилки, громко говорили. — Есть смысл, — доказывала Куроедова, — покупать билеты в лотерею. Наши, например, недавно выиграли игрушечную кошку, херес и копилку «окорок».

Маруська слушала, зажав в колени руки и состроив круглые глаза, как тихенькая девочка, умильная, и приговаривала: — Выпейте.

Никишка встряхивал свисавшими на бархатную куртку волосами. — Искусство, — воскликнул он. Полушальчиха пришла из кухни и, гордясь, стояла. — Тайна красок!

— Жизнь без искусства — варварство, — цитировал рабкор Петров... Зеленое кашнэ висело у него на шее.

— Я не могу, — заговорил задумавшийся Вдовкин, — забыть: в Калуге мы стояли у евреев; в самовар они что-то подсыпали, и тогда распространялось несказанное благоухание.

— В Витебске, — нагнувшись, заглянула Конопатчикова ему в лицо, — к вокзалу приколочен герб: рыцарь на коне. Нигде, нигде не видела я ничего подобного.

Березынькина, запрокинув голову, с закрытыми глазами, счастливая, мокала в рюмку кончик языка и, шевеля губами и облизываясь, наслаждалась.

1926.

ОГЛАВЛЕНИЕ